

# Человек без родины

Перевод с английского и комментарий А. СТАРЦЕВА

Вероятно, мало кто из читавших «Нью-Йорк геральд» 13 августа 1863 года заметил в укромном уголке газетного листа, в колонке «Смерти», извещение:

«Нолан.

На борту корвета США «Левант», 2°11' южной широты, 131° западной долготы, 11 мая скончался Филипп Нолан».

Я прочитал его только потому, что тэмился в старом здании миссии в Макиноу, ожидая парохода, который не изволил притти во-время, и пожирал всю литературу, какая попадалась мне под руку, от первой буквы до последней, включая столбцы «Смертей» и «Бракосочетаний» в «Геральде». У меня вообще хорошая память на лица и на имена, и, как читатель убедится в дальнейшем, я имел достаточное основание помнить, кто такой Филипп Нолан. Наверное не одна сотня читателей «Геральда» призадумалась бы над извещением, если бы составлявший его офицер «Леванта» написал бы: «11 мая скончался Человек без родины». Бедный Филипп Нолан ведь был Человек без родины для всех офицеров, чьему наблюдению его поручали в течение более, чем пятидесяти лет, да и для всех остальных, кто плавал с ним все эти годы. Я берусь утверждать, что многие и многие, кто обеддал с ним за одним столом раз в две недели в продолжение трехлетнего плавания, не имели даже понятия, что его зовут Нолан, не знали даже, есть ли у несчастного вообще какое-нибудь имя.

Теперь все могут узнать историю несчастного Нолана. До сих пор к этому

были препятствия. С конца президентства Мэдисона в 1817 году соблюдение этого дела в строжайшей тайне было вопросом чести для офицеров флота, возивших Нолана на своих кораблях. То, что в печати не появилось никаких намеков на это дело и оно осталось неизвестным стране, говорит о строгом кодексе чести и высокой коллегиальности в среде моряков. Расследование, которое я произвел в архиве морского министерства, в то время когда я состоял при Бюро сооружений, заставляет меня думать, что все документы, относящиеся к делу этого человека, сгорели, когда Росс сжег правительственные учреждения в Вашингтоне<sup>1</sup>. В конце войны Нолан находился на корабле одного из Тэкеров — или это был один из Уотсонов? Так или иначе, когда Тэкер или Уотсон, возвратившись из плавания, сделал донесение в Вашингтоне одному из Крауниншилдов, который сидел тогда в морском министерстве, он обнаружил, что министерство полностью игнорирует дело Нолана. Действительно ли они ничего не знали, или же это было «non mi recogdo\*», прицятое как линия поведения, это мне неизвестно. Зато мне известно, что, начиная с 1817 года, а быть может и ранее, никто из морских офицеров не упоминал более в своих донесениях имени Нолана. Как я уже сказал, теперь нет основания хранить тайну. Несчастный умер, и мне кажется полезным поведать его историю, чтобы показать американской молодежи наших дней, что значит быть человеком без родины.

Филипп Нолан был блестящим молодым офицером «Западного легиона», как тогда называли западный корпус нашей армии. Когда Эйрон Барр<sup>2</sup> в 1805 году совершал свою первую дерзкую вылазку на юг к

\* Печатаемый рассказ американского писателя Э. Э. Гейла был опубликован в 60-х годах прошлого столетия. Тема его представляется сегодня актуальный интерес. По сведениям редакции «Человек без родины» появляется в русском переводе впервые.

\* Не помню (итал.).

Новому Орлеану, он, как сам дьявол, приблизил к себе этого веселого, одаренного, ветреного молодого человека. Он познакомился с ним, если не ошибаюсь, в форте Массаке, за каким-то званым обедом. Барр был любезен с Ноланом, вел с ним беседы, прогуливался рука об руку, взял его с собою на день-два покататься на своем плоскодонном баркасе, словом, очаровал его. Когда Барр уехал, гарнизонная жизнь показалась пресной бедному Нолану. Иногда он, пользуясь разрешением «великого человека», обращался к нему с письмом. Это были длинные, вдохновенные, высоко-парные письма; бедный юноша много тружился, составляя и переписывая их. Но он не получал от своего искусителя ни слова в ответ. Другие офицеры насмеялись над ним, потому что он тратил на эту, ничем невознаграждаемую привязанность к политическому деятелю драгоценное время, которое они посвящали азартным играм — костям, моногахиле и хай-лоу-джеку. Бурбон, юкр и покер в то время не были еще известны.

Однако наступил день, когда торжествовал Нолан. На этот раз Барр спустился по Миссисипи не как адвокат, приискивающий себе резиденцию, а как замаскированный завоеватель. Он выиграл несметное число процессов, он блестал на несметном числе банкетов, его прославлял несметный хор «Еженедельных Аргусов», и молва утверждала, что за ним следует армия и что его ожидает империя.

Это был ослепительный день — день его приезда — для бедного Нолана. Не пробыл Барр и часа в форте, как вызвал Нолана к себе. Вечером он попросил Нолана покатать его в ялике, заявив, что хочет посмотреть на тростниковые заросли и хлопковое дерево. На самом деле он хотел окончательно завербовать Нолана. Когда они вернулись с прогулки, Нолан был верным человеком Барра. С того самого момента, хотя он еще не отдавал себе в этом отчета, он начал жизнь Человека без родины.

Каковы были точные планы Барра, мне известно не более, чем вам, дорогой читатель. Мы можем сейчас не обсуждать этого вопроса. Когда же наступил крах и Джейферсон совместно с Конгрессом, принял решение раздавить в зародыше изменившую родине, устроили знаменитый ричмондский процесс, эти мероприятия нашли отклик на далекой Миссисипи, казавшейся тогда более отдаленным местом, чем

сейчас, скажем, Ньюджет Саунд<sup>3</sup>. Местные власти решили не отставать от центра и, чтобы поразмыкать летнюю скуку, предали ряд офицеров в форте Адамс военному суду. Под суд пошли несколько полковников и майоров и, в заключение, юный Нолан, против которого были очевидные улики. Кто не знал, что он манипулировал службой, что он был готов изменить присяге и по приказу, подписанному «Его превосходительством Эйроном Барром», отправиться когда угодно и куда угодно во главе тех, кто за ним решился бы последовать! Полковники и майоры были оправданы, поскольку мне известно, с полным основанием. Вина Нолана, как я уже сказал, была ясна! Тем не менее, ни я, ни вы, читатель, никогда не услыхали бы его имени, если бы не инцидент, произошедший в самом конце судебного заседания. Когда председательствующий спросил Нолана, не желает ли он сказать что-либо в свою защиту, что показало бы, что он оставался верен Соединенным Штатам, Нолан закричал в исступлении:

— Будь они прокляты, Соединенные Штаты! Я слышать не хочу больше о Соединенных Штатах!

Я думаю, что он не представлял себе, какое впечатление произвели его слова на старого полковника Моргана, председательствовавшего на суде. Добрая половина офицеров, членов суда, сражалась в годы революции и проливала свою кровь за идею, воплотившуюся в имени Соединенные Штаты, которое Нолан проклял, походя, в своей ярости. Что до самого Нолана, то он вырос на западной окраине страны, в обстановке «испанского», «орлеанского» и прочих заговоров. Он воспитывался на плантации, где сливками общества считали испанского офицера или француза-торговца из Орлеана. Помнится, он рассказывал мне об англичанине-губернаторе, жившем у них одну зиму. Он совершенствовал свое образование, каково бы оно ни было, в коммерческих поездках в Веракрус. Он провел юношеские годы со старшим братом в Техасе, охотясь на лошадей. Словом, для него имя «Соединенные Штаты» едва ли имело глубокое содержание.

Но эти Соединенные Штаты давали ему хлеб все годы, которые он служил в армии. Этим Соединенным Штатам он присягал как христианин на верность. Эти Соединенные Штаты даровали ему мундир и шпагу. Увы, мой бедный Нолан, если

бы эти Соединенные Штаты не облекли тебя высоким доверием, «Его превосходительство Эйрон Барр» уделил бы тебе не больше внимания, чем лодочникам плоскодонки, на которой он спустился по Миссисипи.

Я не защищаю Нолана: я только хочу объяснить читателю, как могло случиться, что он проклял свою родину и пожелал не слышать больше ее имени.

Ему пришлось услышать ее имя еще один только раз. С 23 сентября 1807 года, дня суда, до 11 мая 1863 года, дня смерти, он не слышал ее имени. В продолжение более чем полувека он был Человеком без родины.

Старый Морган, как я уже сказал, был глубоко потрясен. Если бы Нолан сравнял Вашингтона с Бенедиктом Арнольдом<sup>4</sup> или закричал «Боже, храни короля Георга!», это, наверно, не могло бы оказаться на Моргана более тяжкое действие. Он удалился вместе с судом и вернулся через пятнадцать минут. Его лицо было белее мела.

— Заключенный, слушайте приговор суда! — сказал он. — Суд принял решение, чтобы вы не слышали больше имени Соединенных Штатов. Приговор подлежит утверждению президента.

Нолан захочет. Но никто больше не смеялся. Старый Морган сохранял глубокую важность, и в зале воцарилась мертвая тишина. Дерзость Нолана поблекла. Морган сказал, обращаясь к судебному маршалу:

— Маршал, доставьте заключенного под вооруженной охраной в Орлеан и препоручите его морскому командованию.

Маршал скомандовал, и заключенного увели.

— Маршал, — продолжал Морган, — следите, чтобы в пути заключенный не слышал имени Соединенных Штатов. Засвидетельствуйте мое почтение лейтенанту Митчелу в Орлеане и передайте, чтобы он озабочился, чтобы заключенный не слышал на борту корабля имени Соединенных Штатов. Вы получите письменный приказ через дежурного офицера сегодня вечером. Судебное заседание прерывается на неопределенное время.

Я подозреваю, что полковник Морган лично отправился в Вашингтон и доложил о решении суда президенту Джону Форресту. Так или иначе, известно, что президент одобрил его, то есть известно, поскольку можно верить людям, утверждавшим, что

они видели собственноручную подпись президента. Не успел еще «Наутилус» с заключенным на борту, обогнуть материк на пути из Орлеана к Атлантическому побережью, как приговор был утвержден и Филипп Нолан стал «Человеком без родины».

План, принятый тогда, был, в основном, тем самым планом, которым руководствовались в более позднее время. Возможно, что на эту мысль их натолкнула необходимость отправить его морским путем из Орлеана. Морской министр — это был, должно быть, первый Крауниншилл, хотя я твердо в этом не уверен, — получил предписание взять Нолана на борт военного корабля, отправляющегося в дальнее плавание, и обеспечить режим, при котором он не смог бы ни получать сведений о родине, ни слышать ее имени. Военные корабли мало ходили тогда в дальние плавания; флот вообще был в забросе. Как я уже говорил, вся эта история основывается на изустных источниках, и я не сумел установить, каков был первый рейс Нолана. Во всяком случае, командир первого корабля, на борту которого он очутился (возможно, что это был Тинджи или Шоу, хотя я склонен думать, что это был кто-нибудь из молодых), выработал процедуру заключения и весь необходимый этикет, связанный с пребыванием Нолана на корабле. В дальнейшем, правила не менялись, я думаю, до самой смерти Нолана.

Когда, тридцатью годами позже, я был первым помощником на «Бесстрашном», мне пришлось увидеть подлинную инструкцию морского министерства. Я очень жалею, что не спаял с нее копии. Она выглядела примерно так:

Вашингтон (дата относилась к концу 1807 года).

Сэр — вы примете от лейтенанта Нила заключенного Филиппа Нолана, бывшего лейтенанта армии Соединенных Штатов.

Заключенный Нолан, преданный военному суду, проклял свою родину и заявил, что «не хочет слышать больше о Соединенных Штатах».

Суд постановил удовлетворить его желание.

Выполнение приговора суда возложено президентом на морское министерство.

Вы примите заключенного на борт вашего корабля и обеспечите необходимые меры, чтобы он не мог совершить побег.

Вы обеспечите его жилищем, продовольствием и одеждой в той мере, какая соответствовала бы его прежнему званию и чину.

Офицеры корабля могут общаться с заключенным в той мере, в какой сочтут для себя удобным. Обращение с заключенным на корабле не должно иметь в себе ничего унижающего его достоинство, равным образом не следует без надобности указывать ему, что он находится в заключении. Ни под каким видом заключенный не должен слышать о родине или получать о ней какие-либо сведения. Вы сделаете специальное внушение всем офицерам вашего корабля в том смысле, что строжайшее соблюдение этого правила является основным условием осуществления приговора.

Решение правительства предусматривает, что заключенный более не увидит родину, от которой он отрекся. Перед концом вашего плавания вы получите приказания, дополняющие настоящую инструкцию в указанном смысле.

Примите мои заверения  
За морского министра  
В. Саутард

Если бы я сохранил документ целиком, мы обладали бы первым звеном в истории заключения Нолана. От капитана Шоу,— если это был действительно Шоу,— документ перешел к тому, кто наследовал его инструкцию, и дальше к следующему таким же образом. Даже сейчас, не имея его на руках, командир «Леванта» не смог бы объяснить, почему он держал человека в заключении на борту своего корабля.

Правила обращения с Человеком без родины, которые я наблюдал на нескольких кораблях, были, как я уже сказал, выработаны в самом начале. Ни одна кают-компания не желала видеть Нолана своим постоянным гостем, потому что в его присутствии нельзя было говорить ни о родной стране, ни о возвращении домой, ни о политике, ни о литературе, ни о перспективах войны и мира — словом, налагался запрет почти на все излюбленные в дальнем плавании застольные темы. Однако лишать его совсем общества казалось жестоким. С матросами ему разрешалось беседовать лишь в присутствии офицера. С офицерами он мог общаться невозбранно, по своему разумению и вкусу. Он постепенно становился замкнутым, хотя к некоторым из нас привязывался;

так, он подружился со мной. По понедельникам капитан приглашал его к обеду. Дальше следовали приглашения кают-компаний в порядке очереди. В зависимости от размеров корабля офицеры встречались с ним за обедом чаще или реже. Завтракал он в одиночестве в своей каюте, дверь в которую всегда была в поле зрения часового или кого-либо из вахтенных. Ужинал он также один. Когда у морской пехоты или у матросов было какое-нибудь торжество, им разрешалось иногда приглашать «Штатские пуговицы», как они называли Нолана. Он приходил в сопровождении офицера, и матросам запрещалось в это время говорить о родине. Эти визиты, очевидно, должны были служить в назидание команде. Матrosы прозвали Нолана «Штатские пуговицы», так как на принятом в армии форменном платье, которое он всегда, по собственному выбору, носил, ему запрещалось иметь форменные пуговицы, украшенные гербом отвергнутой им родины.

Как-то, вскоре после моего поступления во флот, я был на берегу в компании старших офицеров с нашего корабля и с «Брендиайша», который мы встретили в Александрии. Нам разрешили совершить прогулку в Каир и к пирамидам. В то время как мы тащились туда (путь приходилось проделывать на ослах), у старших офицеров завязался разговор о Нолане и кто-то из них рассказал о принятой системе контроля за его чтением и вообще за литературой, попадающей к нему в руки. Нолану не разрешалось сходить на берег, даже если корабль стоял в порту месяцами, и время для него текло медленно. Поэтому всем разрешалось снабжать его книгами, при том непременном условии, что книги не были изданы в Америке и ни словом о ней не упоминали. Это было не столь трудным условием, ибо в восточном полуशарии тогда интересовались Соединенными Штатами не больше, чем сейчас Парагваем. Нолан прочитывал также, рано или поздно, все иностранные газеты, попадавшие на корабль, но прежде их просматривал кто-либо другой и удалял, при помощи ножниц, все упоминания об Америке. Это получалось подчас не очень удачно, в особенности, когда на оборотной стороне листа было что-нибудь весьма невинное. Читая речь Кеннинга<sup>5</sup> или описание одного из наполеоновских сражений, бедный Нолан вдруг видел перед собою дыру, потому что на обороте

было вырезано объявление о рейсах нью-йоркского пакетбота или цитата из обращения президента Соединенных Штатов.

Я впервые тогда услышал об этой системе контроля, которую потом мне пришлось самому усердно проводить в жизнь. Я хорошо это помню, потому что как раз тогда Филипс, ехавший с нами, рассказал о происшествии, случившемся с Ноланом в его первое плавание; больше об этом плавании мне ничего так и не пришлось узнать.

Они огибали мыс Доброй Надежды и задержались, чтобы нанести визит английскому адмиралу. Когда они собирались продолжать свое плавание,—а они направлялись в Индийский океан,—Филипсу посчастливилось позаимствовать у английского офицера целую библиотеку. Среди этих книг была, уготованная самим дьяволом, «Песнь последнего менестреля»<sup>6</sup>, о которой все они много слыхали, но которую еще никто не читал. Она, я думаю, тогда только что появилась. Никому, конечно, не приходило в голову, что в книге может быть что-либо неподходящее для Нолана, хотя, нужно сказать, Филипс клялся, что старик Шоу вырезал «Бурю» из полапова Шекспира, заявив, что, «хотя Бермудские острова еще не наши, они, черт побери, будут нашими, и очень скоро!» Итак, однажды, после обеда, они притащили Нолана присоединиться к их кружку. Они сидели на палубе, курили и читали вслух поочереди; сейчас это редко можно наблюдать на корабле, но когда я был молод, мы постоянно проводили так свободное время. Когда пришла очередь Нолана, он взял книгу и стал читать, читал он очень хорошо. Как я уже говорил, поэму никто не знал ранее, знали только, что там говорится про чудеса и про рыцарские подвиги и что все это происходит добрую тысячу лет назад. Бедный Нолан прочитал всю пятую песнь, сделал паузу, отпил из стакана и начал, ничего не подозревая:

Коль жив без сердца человек,  
Не знаящий радости вовек...

Сейчас кажется странным, что можно было не знать, что следует за этими строками. Однако было именно так.

Вскричать: О, родина моя!

Тут слушатели почувствовали себя не в своей тарелке. Он же решил, очевидно,

«проскочить» и, слегка изменившись в лице, продолжал:

И услыхать ответный зов,  
Презрев для милых берегов  
Чужие дальние моря,  
Коль жив такой, приметь его...

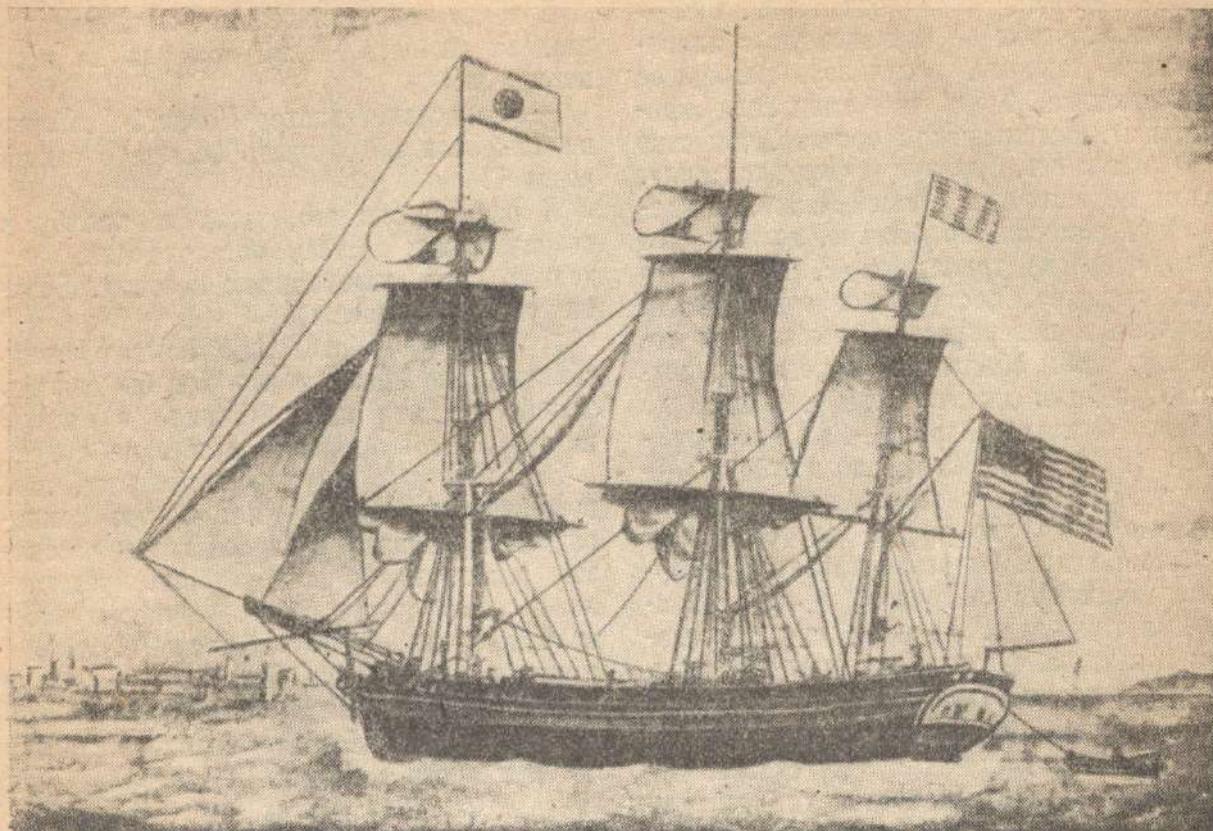
Теперь все были в страшном волнении. Каждый надеялся, что Нолан перевернет страницу и начнет с нового места. Но он уже не владел собой. Он замолк на мгновение, лицо его залилось густой краской, он продолжал:

Знай, менестрель, не для него  
Музыка песни сладкой той.  
Пускай он в злате, знаменит,  
Блаженство от него бежит,  
Несчастный полон лишь собой...

Бедняга задохнулся и не мог читать дальше. Он вскочил с места, швырнул книгу за борт и исчез в своей каюте. «Верьте или нет,— сказал Филипс,— он не показывался оттуда в продолжение двух месяцев. Пришлось сочинить потом целую историю, чтобы объяснить моему англичанину, куда девался его Вальтер-Скотт».

Эта история показывает, что напускного молодечества Нолану хватило ненадолго. Сперва он, как рассказывают, держался весьма развязно, называл приговор мистификацией и фарсом, утверждал, что очень доволен путешествием и тому подобное. Однако, когда он вышел из своей каюты после случая с Вальтер-Скоттом,— это был другой человек. Он никогда больше не участвовал в чтении вслух, разве только если читали Шекспира или библию, или что-либо другое, столь же знакомое. Но не только это. Он никогда больше не общался коротко с другими молодыми людьми. Когда мне пришлось познакомиться с ним, он был робок и замкнут, очень редко заговаривал первым с людьми и лицо его носило выражение усталости и тревоги.

Когда капитан Шоу,— если это, повторяю, был Шоу,— направлялся домой, корабль, к общему удивлению, бросил якорь у одного из Уиндворских островов и стоял там целую неделю. Команда шугала, что офицерам наскутила солонина и они решили, прежде чем плыть домой, побаловатьсь супом из черепахи. Однако через несколько дней у того же острова появился «Уоррен». Корабли обменялись привет-



*Американский фрегат начала XIX века*

ствиями. С «Уоррена» прислали почту и газеты для направляющихся на родину и сообщили, что идут в дальнее плавание и имеют инструкцию принять на борт Нолана со всеми его пожитками. Нолан был очень бледен, когда ему предложили подготовиться ко второму путешествию. Он достаточно хорошо ориентировался по звездам и знал, что близок к дому. Теперь оказалось, что ему туда не вернуться, даже в тюрьму. Это была первая из двадцати пересадок, ознаменовавших длинное путешествие Нолана. Он побывал на добной половине лучших кораблей нашего флота, и он ни разу не подошел ближе, чем на несколько сот миль к берегам родины, имя которой он пожелал никогда не слышать.

Это, должно быть, произошло во второе плавание — я имею в виду бал, на котором Нолан танцевал с миссис Грэф, прославленной в то время красавицей-южанкой. Корабль долго стоял в неапольской бухте, наши офицеры очень сдружились с англичанами и решили после многих празднеств, дать ответный бал на борту корабля. Как это им удалось на «Уоррене», честное слово, не знаю. Возможно, конечно, что это был не «Уоррен», а воз-

можно также, что дамы в то время требовали для себя меньшие места. Офицеры решили использовать для каких-то надобностей каюту Нолана, но они никак не хотели просить его об одолжении, не пригласив его самого на бал. Капитан разрешил пригласить Нолана, однако с условием, что офицеры возьмут на себя ответственность, что он не будет разговаривать с посторонними, которые могли бы «передать ему сведения».

Итак, бал был в разгаре, самый веселый бал на свете, конечно, ибо я не слыхал о бале на борту военного корабля, который не имел бы этого отличительного качества. Дамское общество состояло из семьи американского консула, двух или трех путешественниц, забравшихся в эти далекие края, и прелестного цветника англичанок, девиц и дам, среди которых была, возможно, и сама лэди Гамильтон.

Офицеры, смения друг друга, держались подле Нолана и занимали его беседой, чтобы помешать ему завести разговор с кем-нибудь из гостей. Один танец сменился другим, веселье возрастало и постепенно даже почетные охранители Нолана решили, что все сошло без задоринки. Правда, когда одна из англичанок, — возможно, как

я уже говорил, сама лэди Гамильтон,— попросила, чтобы ее познакомили с американскими танцами, случилось небольшое происшествие. Тогда все танцевали контрадансы. Негритянский оркестр, радостно посовещавшись, грянул «Вирджин-Рил», затем перешел на «Моней-Маск», и следующим номером, но обычно, должен был быть «Дорогие тринадцать»<sup>7</sup>. Только что Дик, дирижер, постучал палочкой своим скрипкам и повернулся с изысканным поклоном, чтобы объявить: «Дорогие тринадцать», лэди и джентльмены!, как он до этого объявлял «Вирджин-Рил, пожалуйста!» и «Моней-Маск, пожалуйста!» — вдруг юнга трогает его за плечо, шепчет ему что-то на ухо и Дик не объявляет название танца. Он ограничивается поклоном, взмахивает палочкой, и все принимаются танцевать. Офицеры учат англичанок новым па, но не объясняют им, почему танец не имеет названия.

Но это не та история, о которой я начал рассказывать. Как я уже сказал, Нолан и его охранители постепенно перестали стесняться друг друга, и вот Нолан, самым естественным образом, подходит к ослепительной миссис Грэф и кланяется ей:

— Я надеюсь, вы помните меня, мисс Рутледж,— говорит он,— окажите же мне честь потанцевать со мной.

Это произошло в одно мгновение. Феллоуз, который был с ним, ничего не мог поделать.

Красавица засмеялась.— Я уже больше не мисс Рутледж, мистер Нолан,— сказала она,— но я все же охотно с вами протанцую.— Она кивнула Феллоузу, как бы говоря, что он может на нее положиться, и ушла с Ноланом.

Нолан решил, что судьба ниспослала ему счастливый случай. Он знал свою даму по Филадельфии, встречался с ней не раз в других местах, это была настоящая удача. В контрадансах нельзя помногу разговаривать, как, например, в котильоне или даже в вальсе, но все же и здесь вы можете обменяться словами, так же как взглядом и улыбкой. Он начал издалека, заговорил о ее путешествии, о Европе, о Везувии, о французах, а когда они прошли и стали сзади, ожидая снова очереди, он спросил в упор, чуточку побледнев, как она позднее мне рассказывала:

— Ну, а что слышно на родине, миссис Грэф?

И тогда эта удивительная женщина поглядела на него. Боже, как она на него поглядела!

— На родине, мистер Нолан?! Разве вы не пожелали не слышать больше о вашей родине?!

И она, бросив его, ушла на палубу к своему мужу. Нолан остался один, он, должно быть, уже привык к этому. Больше он не танцевал.

Я чувствую, что рассказываю очень сбивчиво, но едва ли кто мог бы связать теперь все эти происшествия в единую историю. Я, во всяком случае, не сумею.

Эти эпизоды, которые я привожу, и в подлинности которых нет повода сомневаться, я выбираю из целой груды рассказов, значительная доля которых представляет собою сущие басни. Офицеры называли иногда Нолана «Железной Маской», и старичина Джордж Понс так и умер в уверенности, что несчастный Нолан и есть «Железная Мaska», что он же является автором писем Юниуса<sup>8</sup> и что он наказан за содержащийся в этих письмах злой поклон на президента Джейфферсона. Бедняга Понс никогда не был силен в истории.

Более счастливым был эпизод из плаваний Нолана, относящийся уже к первым годам войны<sup>9</sup>. Я слыхал эту историю в трех или четырех вариантах. На каком корабле она имела место, не берусь сказать. Так вот, во время большой артиллерийской дуэли нашего и английского фрегатов,— это было боевое крещение нашего флота,— вражеское ядро ударило прямым попаданием в бортовое отверстие и убило на месте командующего офицера и почти всю прислугу орудия. Можно, конечно, рассуждать о храбости сколько угодно, но это было страшное зрелище. Когда уцелевшие люди немного пришли в себя и стали вместе с санитарами оттаскивать прочь тела убитых и раненых, вдруг среди них появляется Нолан, без сюртука, с банником в руках и, приняв на себя командование, приказывает одним унести раненых, другим оставаться на месте,— все это с величайшим спокойствием и с той уверенностью, которая заставляет людей отбросить боязнь и поверить в себя.

Он сам зарядил пушку, навел ее на неприятеля и скомандовал открыть огонь. Он остался командовать орудием, сидя на лафете под вражеским огнем, пока его пушка остывала, поддерживая дух прислуки, обучая ее искусству артиллерийского

дела, и, наконец, добился вдвое большей интенсивности огня, чем любой другой офицер на фрегате. К ним приблизился коммодор, обходивший батареи и подбодривший людей, и Нолан, коснувшись шляпы, сказал ему:

— Я учю их, сэр, делать так, как это принято у нас, в артиллерию.

Тут все варианты этой истории сходятся. Коммодор ответил:

— Я это вижу, и я благодарю вас, сэр. Я никогда не забуду этот день, сэр, и вы также его не забудете, сэр.

Когда сражение пришло к концу и англичане сдались, коммодор, посреди официальной церемонии на шканцах, сказал:

— Где же мистер Нолан? Позовите сюда мистера Нолана.

Когда Нолан пришел, он обратился к нему:

— Мистер Нолан, мы все сегодня выражаем вам признательность. Сегодня вы вместе с нами. Ваше имя будет названо в донесении.

И старик снял свою церемониальную шпагу и опоясал ею Нолана. Мне рассказывал об этом человек, который там был. Нолан плакал как ребенок. Он не носил шпаги с того самого проклятого дня в форте Адамсе. После он надевал эту стяжинную французскую шпагу, награду коммодора, при всех торжественных случаях.

Имя Нолана было названо в донесении. Говорили, что коммодор ходатайствовал о его помиловании и даже обратился по этому поводу с письмом к военному министру. Ничего из этого не вышло. К тому времени дело Нолана, как я уже говорил, стали игнорировать в Вашингтоне и заключение Нолана продолжалось в силу той простой причины, что его некому было прекратить.

Мне рассказывали, что Нолан был с Портером, когда Портер занял острова Нукахива. Я имею в виду, конечно, не нашего Портера, а старого Портера, его отца, Портера с «Эссекса», то-есть не теперешнего Портера с «Эссекса», а старики Портера со старого «Эссекса»,— ну, вы знаете, о ком я говорю<sup>10</sup>. Как артиллерийский офицер, служивший на западной границе, Нолан больше разбирался в фортификационных сооружениях, во всех этих амбразурах, равелинах и палисадах, чем любой из людей Портера. Он работал с великим усердием над укреплением береговой линии. Мне всегда казалось ошибкой, что Портер не оставил его там коман-

довать гарнизоном вместе с Гемблом. Этим вопросом о его наказании разрешился бы сам собой. К тому же, мы тогда удержали бы острова и имели бы сейчас опорный пункт в Тихом океане. Наши друзья французы, почувствовав внезапный интерес к этому приморскому курорту, нашли бы его несколько перенаселенным. Но Мэдисон и его вирджинская компания, конечно, проигрывали все дело.

Все это происходило пятьдесят лет назад. Если Нолану было тогда тридцать, значит, он умер почти восьмидесяти. Нужно сказать, что когда ему стукнуло сорок лет, на вид ему можно было дать шестьдесят. С той поры, он, как мне кажется, ничуть не менялся. Как можно заключить по рассказам, он побывал за эти годы на всех морях, куда ходят корабли, но почти никогда не был на суше. Он свел знакомство, шапочное, по крайней мере, с большим числом офицеров нашего флота, чем доводится любому морскому министру. Он сказал мне раз, со своей степенной улыбкой, что наверно никто в мире не ведет такой методический образ жизни, как он. «Вы слыхали, наверно, как ваши друзья называют меня Железной Маской, а ведь Железная Мaska был занятым человеком». Он сказал, что, по его мнению, читать беспрерывно так же дурно, как отдаваться беспрерывно любому другому занятию, но, что он читает пять часов в день. «Затем,— сказал он,— я посвящаю время своим тетрадям, записываю мысли, возникающие у меня в связи с прочитанным, потом я вожусь с альбомами». Его альбомы были очень интересны. У него было их пять или шесть штук, по разным предметам. Я помню, один был отведен истории, другой естественным наукам, был также альбом, называвшийся «Всякая всячина». Основной материал альбомов составляли вырезки из газет, но это было не все. Там были засушенные растения, раковины, укрепленные на отдельных листах, резное дерево, и кость, и множество прекрасных рисунков. Он великолепно рисовал. Там были самые забавные рисунки и самые трогательные рисунки, какие мне приходилось видеть в жизни. Интересно, кому теперь достанутся альбомы Нолана.

Итак, он сказал мне, чтение и записи составляют его основное занятие и что они отнимают у него ежедневно семь часов. «Каждый человек ищет помимо занятия какого-либо развлечения,— продол-

жал он,— мое развлечение — мир природы». Этому он отдавал еще два часа. Команда носила ему птиц и морских животных, но в дальнем плавании ему приходилось ограничивать свои наблюдения сороконожками, тараканами и тому подобной мелкотой. Он был единственным из натуралистов, встречавшихся мне, кто знал в мельчайших деталях повадки москита или домашней мухи. Эти джентльмены обычно ограничиваются указанием *Lepidoptera* ли это или же *Steptopota*. Что же до того, как вам отделаться от москита, когда он вас преследует, или, например, как он умудряется удрать от вас, когда вы его бьете, об этом никто из них, от самого Линнея и до нашего времени, понятия не имеет.

Таким образом, эти девять занятых часов составляли основное времяпрепровождение Нолана. Остальные часы он беседовал с кем-нибудь или прогуливаясь по палубе. До самой старости он много ходил. Он придавал большое значение монопону, и я не слыхал, чтобы он когда-либо был болен. Если кто-нибудь другой болел, нельзя было найти более внимательной сиделки; кроме того он разбирался в медицине много лучше, чем большинство судовых докторов.

Я впервые увидел Филиппа Нолана, когда получил, молоденьkim мичманом, свое первое назначение на корабль. Это было через шесть или восемь лет после Английской войны. Это было также после подписания договора о работоговле, и наша законодательная палата, продолжавшая оставаться вирджинской палатой, проявляла еще некоторую сентиментальность по поводу гнусной перевозки негров и принимала кое-где кое-какие меры<sup>11</sup>. С такого рода поручением мы отплыли в южную часть Атлантического океана. Увидев на корабле Нолана, я решил, что это должен быть капеллан, особого рода капеллан, в форменном платье. Я никого не спрашивал. Я знал, что задавать вопросы, значит показать себя новичком. Я вполне допускал, что «Штатские пуговицы» имеются на каждом корабле. Раз в неделю я встречал его за обедом, и в этот день за столом прекращались всякие разговоры о родине. Я принимал и это как должное. Я не проявил бы, вероятно, удивления, если бы в определенные дни нам запрещалось говорить, скажем, о планете Марс. Я не видел тогда, равным образом, основания для тысячи вещей, которые выполня-

нялись на корабле, как само собой разумеющиеся.

Я узнал первый раз о Человеке без родины, когда мы захватили грязную маленькую шхуну, перевозившую живой товар. Офицер, отправленный принять над ней командование, прислал немедленно лодку с просьбой отправить к нему человека, говорящего по-портugальски. Мы все стояли у поручней и страстно жалели, что не знаем португальского и не можем поехать на шхуну. Капитан спросил, кто знает португальский язык. Никто из офицеров не знал, и капитан уже намеревался послать опросить команду, когда Нолан выступил вперед и сказал, что если капитан ничего не имеет против, он был бы рад быть полезным. Капитан поблагодарил его, приказал спустить другую лодку, которую,— о, удача! — повел я.

На шхуне нас ожидало зрелище, какое редко приходится наблюдать и которое я не желал бы увидеть еще раз. Непередаваемая мерзкая грязь и сумасшедший хаос. Негров было не очень много. Чтобы дать им понять, что они свободны, Боган приказал сбить с них кандалы и, кстати, заковать мерзавцев из команды шхуны. Негры сновали взад-вперед по грязной палубе и толпились вокруг Богана, обращаясь к нему на всех языках и диалектах, от щелкающих зулусских говоров до фантастичнейших негритянских наречий.

Когда мы появились на палубе, Боган воззвался на нас с боченка, куда он в отчаянии залез, и сказал:

— Ради всего святого, пусть кто-нибудь из вас сковорится с этими чертями. Мы угостили их ромом, но это их ничуть не успокоило. Я уже два раза стукнул этого парня, и он никак не утихомирился. Я обращался к ним на чоктоуском наречии, и пусть меня повесят, если они поняли, что я хочу, чтобы они меня оставили на минуту в покое.

Нолан сказал, что он владеет португальским, и из толпы извлекли двух красивых либерийцев, которые работали у португальцев на побережье Фернандо-По.

— Скажите им, что они свободны, — сказал Боган. — Еще скажите им, что мы повесим этих проходимцев, как только обзаведемся веревкой.

Нолан перевел, то-есть он передал это на том подобии португальского, которое было доступно либерийцам, они же, в свою очередь, поделились с теми неграми, которые могли говориться с ними. Тут нача-

лось неслыханное ликование, вопли, пляски, вздывание кулаков, целование ног у Нолана и общее поклонение Богану, который стоял на боченке,— настоящий *deus ex machina* \*.

— Скажите им,— продолжал Боган, видимо тронутый,— что я отвезу их к мысу Пальма.

Это заявление не встретило одобрения. Мыс Пальма был так далек от их родных мест, что они не могли оттуда никоим образом вернуться домой. С тем же успехом Боган мог везти их в Новый Орлеан или в Рио де Жанейро. Их переводчики сразу сказали: «Ах нет, не к Пальма!» и стали предлагать на перебой тысячу других мест на тысяче разных языков. Боган был несколько разочарован малым успехом своей декларации и нетерпеливо спросил Нолана, чего негры хотят. Нолан с трудом заставил толпу дать ему говорить. Он побледнел, крупные капли пота выступили у него на лбу:

— Они говорят: «Не к Пальма!» Они говорят: «Отвезите нас домой, на нашу милую родину, к нашему дому, отвезите нас к нашим женам и детям». Вот этот говорит, что у него остались дома старики мать и отец, и что они умрут с горя, если он не вернется. А этот говорит, что в их деревне все больны и что он ехал на лодке в Фернандо за белым доктором, когда его захватили в плен эти дьяволы, и что он полон тревоги за своих соплеменников. А этот,— Нолан задохнулся.— говорит, что он уже шесть месяцев ничего не слыхал о родине, с тех пор, как он попал на эту проклятую шхуну.

Боган говорил после, что он поседел за эти пять минут, пока Нолан, запинаясь и тяжело перевода дыхание, делал свой перевод. Я, не имевший понятия, что происходит, вдруг почувствовал, что самый воздух вокруг накалился и близится нечто ужасное. Даже негры смолкли, увидев невыносимое страдание на лице Нолана и мучительное смущение Богана.

Боган сказал:

— Передайте им, что я отвезу их домой. Да, да, да! Я отвезу их домой, хотя бы мне пришлось пересечь на шхуне пустыню Сахару!

\* *Deus ex machina* — буквально «бог из машины» (лат.). В античном театре боги неожиданно спускались на сцену с помощью механического приспособления и разрешали затянутый драматический конфликт.

Нолан сообщил неграм решение Богана. Поднялась новая волна ликования и целования ног. Один из негров непременно желал потеряться с Боганом носами.

Силы Нолана подходили к концу. Он распрощался с Боганом, и мы спустились в лодку. Когда мы уселись на корме и люди подняли весла, он сказал мне: «Юноша, пусть это научит вас, что значит не иметь семьи, не иметь дома, не иметь родины. Если вам когда-нибудь придет в голову сказать слово или совершив поступок, который может оторвать вас от семьи, от дома, от родины, молите бога, чтобы он в это мгновение отнял у вас жизнь. Люби свою семью, мальчик, забудь о себе, отдай семье свои заботы. Думай о своем доме, мальчик, пиши домой, вспоминай его ежечасно; пусть он будет тем ближе твоим мыслям, чем дальше от него тебя уносит судьба; спеши домой, когда придет час, как спешат эти бедняги негры. Что же до родины, мальчик,— его голос задрожал,— и до этого флага,— он указал на корабль,— пусть будет у тебя только одна горделивая мечта — служить им до последнего издыхания, хотя бы пришлось пройти тысячу раз через самый ад. Что бы ни случилось с тобой, кто бы ни льстил тебе, кто бы ни оскорблял тебя, никогда не гляди на другой флаг, посвяти все помыслы своему флагу. Помни, мальчик, что за всеми этими людьми, за офицерами, за правительством, за самим народом стоит Родина, твоя Родина и ты принадлежишь ей так же, как принадлежишь своей матери. Стой за нее, мальчик, как ты стоял бы за свою мать, если бы на нее напали сегодня эти разбойники!»

Я был перенуган сдержанной страстью этой речи. Я пробормотал, что, я, конечно, все это выполню, что я никогда не думал об ином. Он, казалось, не слышал меня. Он сказал почти шепотом: «О, если бы кто-нибудь сказал мне это, когда я был молод!»

Мне кажется, что это происшествие, о котором я никому не заикнулся, положило начало нашей дружбе. Он был очень добр ко мне. Мы часто беседовали с ним, бывало, он вставал ночью, чтобы провести со мною мою вахту. Он привил мне вкус к математике, большей частью своих математических познаний я обязан Нолану. Он давал мне читать книги и помогал разбираться в них. Он больше никогда не возвращался к своей истории; то, что я расска-

зываю здесь, я узнал за тридцать лет от различных офицеров.

Когда мы расстались, по окончании плавания, в Сент-Томасе, я был сильно опечален. Я был очень рад, когда встретился с ним снова в 1830 году. Позднее, когда я стал пользоваться некоторым влиянием в Вашингтоне, я использовал все свои связи, чтобы добиться его освобождения. С тем же успехом я мог бы хлопотать о призраке. В министерстве утверждали, что знать не знают никакого Нолана. Пойдите к ним теперь, они вам ответят то же самое. Возможно, что они в самом деле не знают. Это будет не первая и не последняя вещь, о которой им следовало бы знать и о которой они не знают.

Рассказывают, будто Нолан как-то встретился с Барром, который якобы посетил корабль в одном из средиземноморских портов с группой путешествующих американцев. Я думаю, что это басня, или, точнее, легенда *ben trovato*<sup>\*</sup>, ибо рассказывающие ее обычно упоминают, как Нолан, проклиная Барра, спросил его, правится ли ему быть Человеком без родины. Насколько нам известно из биографии Барра, такого эпизода в его жизни не было. Я упоминаю эту историю просто для того, чтобы показать, как вокруг всякого необычного происшествия рождаются слухи и легенды.

Итак, злосчастное пожелание бедного Нолана было исполнено. Я знаю лишь одну судьбу злеей этой. Это судьба тех, кто вынужден был покинуть свою страну, ибо умышлял ее погибель, и должен теперь наблюдать, как страна, освободившая себя от них и их предательских замыслов, цветет и завоевывает славу. Разве не было страшное пожелание бедного Нолана,— мы называли его бедным не потому, что его наказание было чрезмерно велико, а потому, что раскаяние его было слишком очевидно,— пожеланием каждого Брэгга и Борегара<sup>12</sup>, изменившего присяге солдата два года назад, каждого Маури и Бэррона, изменившего тогда же присяге моряка<sup>13</sup>. Я не знаю, раскаивались ли они в своем деянии. Я знаю, что они совершили все, что могли, чтобы лишить себя родины, чтобы разорвать в клочки и развеять по ветру все почести, воспоминания и надежды, связываемые с именем родины. Они осуждены теперь влачить оставшиеся дни

своей жизни по всяkim Болоньям и Лейстер-Скверам, цепляясь друг за друга, и назначенная им кара включит не только муки Нолана, но презрение и ненависть каждого, с кем столкнет их судьба. Они этого пожелали, и пожелание их исполнено.

В то время как написав все это, я обдумывал, не стоит ли мне предать мой рассказ гласности в поучение всем юным Ноланам, Валландигэмам и Татноллам<sup>14</sup> наших дней, я получил письмо от Дэнфорса с борта «Леванта», посвященное последним часам Нолана. Оно разрешило мои сомнения.

Вот это письмо:

Левант 2°2' @ 131° W

Дорогой Фред,

Я стараюсь найти в себе силы, чтобы сообщить тебе, что бедного Нолана уже нет в живых. Я сблизился с ним в это плавание более чем когда-либо и вполне оценил твое теплое отношение к старику. Я замечал, что его здоровье пошатнулось, но мне не приходило в голову, что близится конец. Доктор последнее время постоянно держал его под наблюдением. Вчера он пришел ко мне и сказал, что Нолан болен и лежит в каюте,— а этого с ним не случалось, сколько я его помню. Он позволил доктору осмотреть себя,— в первый раз он пустил его к себе в каюту,— и просил его позвать меня. Силы небесные!— помнишь, какие дикие выдумки мы сочиняли о нем и его каюте в старые дни на «Бесстрашном»! Так вот, я вошел в его каюту, стариk лежал на своей койке, улыбаясь мне и протягивая исхудалую руку. Я огляделся вокруг, каюта походила на святилище. Звезды и Полосы<sup>15</sup> были трижды обвиты вокруг портрета Вашингтона. Царственный орел, нарисованный Ноланом, с молниями, стремящимися из клюва, держал сжатой лапой земной шар, осеняя его крыльями. Стариk перехватил мой взгляд и сказал, слабо улыбаясь: «Вы видите, здесь у меня родина!» И он указал на стену в ногах койки, где висела нарисованная им по памяти карта Соединенных Штатов, которую он всегда имел перед глазами. На ней были сделаны большиими буквами странные надписи, от которых пахнуло давно минувшим. Территория Индиана, Территория Миссисипи, Территория

\* Хорошо придумано (из итальянской поговорки).

Луизиана. Наши отцы, нужно думать, учились по такой карте. Старик, правда, включил в границы страны и Техас. Он провел западную границу к самому Тихому океану, но не сделал там никаких надписей.

— Дэнфорс! — сказал он, — я умираю. Я уже не вернусь на родину. Теперь вы можете говорить со мной об этом, не правда ли? Нет, молчите! Молчите! Сперва я должен сказать вам, вы это и так знаете, что на всем этом корабле, во всей нашей стране, — да благословит ее бог! — нет более преданного родине сына, чем я. Нет другого человека, который любит наш дорогой флаг, как я его люблю, молится за него, как я молюсь, верит в него, как я верю. Дэнфорс, на нем сейчас тридцать четыре звезды. Я благодарю за это небо. Это вселяет в меня уверенность, что ни один Барр не добился успеха. О, Дэнфорс, Дэнфорс, каким страшным кошмаром кажутся эти мальчишеские бредни о личной славе, о личной власти, когда человек прожил такую жизнь, какая досталась мне. Но расскажите мне, расскажите мне, что нибудь, расскажите мне все, Дэнфорс, пока я не покончил счеты с жизнью.

Клянусь тебе, Ингэм, я почувствовал себя негодяем, что я молчал перед ним все эти годы. Какие соображения щепетильности, какая боязнь риска могла меня заставить тиранить этого седовласого мученика, искушившего всей своей жизнью бесчестный проступок молодости. Мистер Нолан, — сказал я, — я расскажу вам все, что вы захотите. Скажите только, с чего мне начать».

Его бледное лицо осветилось улыбкой блаженства. Он сжал мне руку и сказал:

— Да благословит вас бог! Назовите мне их имена, — и указал на звезды на флаге. — Последний, о котором мне пришлось узнать, был Огайо. Мой отец жил в Кентукки. Я догадываюсь о Мичигане, Миссисипи и Индиане; Миссисипи должен лежать там, где находился форт Адамс. Вместе это составляет двадцать. Где же остальные четырнадцать? Уже не вздумали ли разделить старые штаты?<sup>16</sup>

Мне легко было начать разговор с этой темы. Я назвал ему имена новых штатов по порядку, как сумел, и он попросил меня снять со стены его прекрасную карту и нанести на нее карандашом новые названия. Он был счастлив, когда я рассказал ему про Техас, сказал мне, что там умер

его двоюродный брат; на карте был золотой крестик там, где была его могила. Он был очень доволен, узнав про Калифорнию и Орегон. Он сказал, что подозревал об этом, так как его никогда не пускали на берег на восточном побережье материка, хотя корабли стояли там подолгу. Потом он вернулся назад, — боже, в какую глубь времен, — и стал спрашивать про «Чизапника», спросил, отдали ли Бэррона под суд за то, что он сдался «Леопарду»<sup>17</sup>, спросил, был ли второй суд над Барром, здесь он скрипнул зубами. Потом он спрашивал о старой войне, рассказал всю историю как он командовал орудием в тот день, когда мы захватили «Яву», спрашивал о «дорогом Дэвиде Портере», как он называл его. Потом он улегся поудобнее и сияя счастьем, приготовился выслушать от меня часовой рассказ о событиях пятидесяти лет.

Как я хотел бы, чтобы на моем месте был действительно знающий человек! Я сделал все, что мог. Я рассказал об исходе английской войны. Я рассказал о Фультоне и первых пароходах. Я рассказал о старом Скотте, о Джексоне<sup>18</sup>, припомнил все, что мог о Миссисипи, о Новом Орлеане, о Техасе, о его родном Кентукки. И, знаешь, что он тогда спросил? «Кто командует Западным легионом?» Я ответил, что командует храбрый офицер по имени Грант и что по последним сведениям он перенес свою штаб-квартиру в Виксбург<sup>19</sup>. Тогда он попросил показать, где находится Виксбург. Я отметил на его карте. Это пришло, примерно, на сто миль к северу от его форта Адамса, который я думаю представляет сейчас груду развалин. «Это значит, на плантации старого Вика, — сказал он, — у Ореховых холмов. Да, это новость!»

Поверь, Ингэм, было пелегко, втиснуть историю половины столетия в беседу с больным человеком. Я уже не помню, как я все это ему рассказал. Я рассказал о передвижении населения на запад, о новых средствах транспорта, железных дорогах, пароходах, о телеграфе, об изобретениях, о книгах, о новых колледжах, о Вест-пойнтской академии, о морской школе. Если бы ты слыхал его реплики! Это был новый Робинзон Крузо, задававший вопросы, накопившиеся за пятьдесят шесть лет.

Внезапно он спросил, кто сейчас президент. Когда я ответил, он спросил, не при-

ходится ли Старый Эйб<sup>20</sup> сыном генералу Бенджамену Линкольну. Он сказал, что видел генерала Линкольна, когда еще был мальчишкой, при заключении какого-то договора с индейцами. Я сказал, что нет, что Старый Эйб природный кентуккиец, как и сам Нолан, и что он вышел из народа.— Вот это хорошо!— воскликнул Нолан.— Это меня радует. Раздумывая эти годы, я пришел к мысли, что в постоянной власти людей из родовитых семейств кроется опасность для страны.— Потом я рассказал ему о своей поездке в Вашингтон, о том, как я встретил Гардинга, члена Конгресса от Орегона, рассказал ему про смитсоновский институт<sup>21</sup> и про исследовательские экспедиции. Я рассказал ему, как выглядит Капитолий, про скульптуру на фронтоне, про круфордову Свободу и гринэфова Вашингтона<sup>22</sup>. Я рассказал ему обо всем, Ингэм, что могло ему дать понятие о великолепном расцвете нашей, его и моей родины, но у меня, Ингэм, не повернулся язык сказать ему о проклятом мятеже<sup>23</sup>.

Он упивался моим рассказом, трудно передать его наслаждение. Он привлек меня к себе, поцеловал и сказал на прощание:

«Когда я умру, Дэнфорс, загляните в мою библию». Я ушел.

Я не думал, что это уже конец. Я думал, что он утомился и хочет уснуть. Я знал, что он счастлив, и хотел оставить его одного.

Но через час доктор вошел в его каюту и нашел его мертвым. На лице Нолана застыла улыбка. Он что-то прижал к губам. Это был принадлежавший его отцу знак Цинциннатского Ордена<sup>24</sup>.

Мы открыли его библию, там лежал клочок бумаги, на котором рукою Нолана было написано следующее:

«Похороните меня в море. Море стало моим домом, и я полюбил его. Но не возьмется ли кто воздвигнуть камень в память обо мне где-нибудь в Форте Адамсе или в Орлеане, чтобы позор, выпавший на мою долю, не был бы больше, чем я того заслужил. Пусть на этом камне будет написано:

### В ПАМЯТЬ О ФИЛИППЕ НОЛАНЕ,

Лейтенанте армии Соединенных Штатов.  
Он любил свою родину как никто другой;  
он был недостойнейшим из ее сынов.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> В августе 1814 года английские войска под командованием генерала Росса захватили Вашингтон и уничтожили государственные учреждения.

<sup>2</sup> Эйрон Барр (1756—1836) — американский государственный деятель, адвокат и сенатор, вице-президент в президентство Джонса Ферсона. Барр был беспричинным авантюристом, замышлявшим отделение юго-западных территорий США, во главе которых он намеревался затем стать. Хотя процесс Барра («ричмондский процесс») имел благоприятный для него исход, историки считают доказанным, что он вел изменнические переговоры с английским правительством.

<sup>3</sup> Ньюпорт — отдаленный пункт в северо-западной оконечности США.

<sup>4</sup> Бенедикт Арнольд — американский генерал, участник Войны за независимость, купленный англичанами и едва не приведший американскую армию к катастрофе. Будучи разоблачен и перейдя в английские войска, Арнольд отличался особой жестокостью к американцам. Его имя стало в США нарицательным для предателя и шпиона.

<sup>5</sup> Георг Канинг — один из руководителей британской политики в первые десятилетия XIX века.

<sup>6</sup> Песнь последнего менестреля — поэма Вальтер-Скотта, вышедшая в 1805 году.

<sup>7</sup> Дорогие тринацать. — Имеются в виду тринацать звезд на флаге США (по числу штатов, входивших в то время в Союз).

<sup>8</sup> Железная Маска — легендарный узник Бастилии; Письма Юниуса — анонимное произведение английской политической литературы XVIII века.

<sup>9</sup> Первые годы войны. — Речь идет об англо-американской войне 1812—1814 годов, известной под названием «войны за независимость».

<sup>10</sup> Портеры — знаменитая семья американских моряков. Дэвид Портер (1754—1808) был морским офицером эпохи войны за независимость. «Старый» Дэвид Портер (1780—1843) — знаменитый морской офицер «войны за независимость», командир прославленного фрегата «Эссекс», грозы британских кораблей. Дэвид Портер — внук (1813—1891) —

один из самых выдающихся морских офицеров Севера в период гражданской войны. Во время гражданской войны у северян был военный корабль «Эссекс», которым командовал еще один Порттер, также член этой семьи.

Остров Нукахива, о котором идет речь в рассказе, крупнейший в группе Маркизских островов в Тихом океане, был оккупирован вторым Порттером в 1814 году, от имени США. Однако правительство президента Мэдисона не санкционировало оккупацию, и в 1842 году Маркизские острова были заняты французами. Автор называет правительство Мэдисона «вирджинским», намекая на верховенство в политике США, в тот период вирджинских плантаторов-рабовладельцев.

<sup>11</sup> Речь идет о Гентском договоре, заключенном США с Англией после войны 1812—1814 годов, по которому американское правительство обязалось преследовать торговлю рабами, похищенными на африканском побережье.

<sup>12</sup> Брокстон Брэгг — полковник армии США, перешедший на сторону мятежников-южан Пьерр Борегар — видный офицер армии США начальник военной академии, перешедший на сторону мятежников-южан и открывший военные действия бомбардировкой форта Сэмтера.

<sup>13</sup> Мэттью Маури и Сэмюэль Бэррон — офицеры военного флота США, перешедшие на сторону мятежников-южан.

<sup>14</sup> Климент Валландигэм — лидер «многоголовых», противник правительства Линкольна (подробно о нем см. выше). Джошуа Татнолл — офицер военного флота США, измена которого и деятельность у южан нанесли Северу большой ущерб.

<sup>15</sup> Звезды и полосы — принятое название национального флага США.

<sup>16</sup> В первой половине XIX века США значительно расширили свою территорию, а также освоили ряд областей, до тех пор мало населенных. Количество штатов, входящих в Союз, значительно увеличилось. Так, в 1817 году получил права штата Миссисипи, в 1845 Техас и Флорида, на Юге в 1850 — Калифорния и в 1859 — Орегон, на Западе.

<sup>17</sup> Речь идет об известном эпизоде военно-морской истории США, предшествовавшем второй англо-американской войне. Американ-

ский корабль «Чизапик» в 1807 году подвергся нападению английского фрегата «Леопарда», желавшего осуществить «право обыска», на котором настаивало английское правительство и которое послужило одним из поводов для войны 1812—1814 годов. «Чизапик» после короткого боя сдался, и его командир Джеймс Бэррон по возвращении в США был предан военному суду.

<sup>18</sup> Генерал Ван菲尔д Скотт — ветеран индейских и мексиканских войн первой половины XIX века. Во время гражданской войны Скотт, хотя и был вирджинцем по происхождению, остался верным правительству Линкольна. Эндрю Джексон — популярный генерал этого же периода, президент США с 1829 по 1837 год.

<sup>19</sup> Улисс Грант — знаменитый генерал северной армии в Гражданскую войну. Весной 1863 года он осадил и захватил Виксбург, одержав победу над южанами. Позднее Грант был президентом США (1869—1877) в годы разнозданного «грюндерства» американской буржуазии.

<sup>20</sup> Старым Эйбом называли президента Линкольна.

<sup>21</sup> «Смитсоновский Институт распространения наук и прикладных искусств» — крупнейший научный центр США, основанный в 1843 году на деньги, завещанные США для этой цели английским ученым Джемсом Смитсоном.

<sup>22</sup> Капитолий — правительственные здания США в Вашингтоне.

Крауфордова Свобода — статуя вооруженной Свободы на куполе Капитолия работы американского скульптора Тома Крауфорда (1813—1857), ученика Торвальдсена. Гринафов Вашингтон — стоящая в Капитолии громадная статуя Вашингтона, воздвигнутая в 1843 году американским скульптором Горацио Гринафом (1805—1852).

<sup>23</sup> Речь идет о мятежном выступлении южных штатов.

<sup>24</sup> Цинциннатское общество было основано офицерами американской Войны за независимость при демобилизации в 1785 году, по имени Цинцинната, римского гражданина, бросившего плуг для служения родине и снова вернувшегося к плугу, выполнив свой долг.

## КОММЕНТАРИЙ

Рассказ «Человек без родины» американского автора Эдварда Гейла был написан семьдесят пять лет назад. Он появил-

ся в разгар гражданской войны в США и представлял защиту взглядов северной партии. Больше того, рассказ был задуман Гей-

лом, убежденным сторонником Севера, как предвыборное выступление в пользу переизбрания в президенты США Абрама Линкольна, вождя северян, ненавистного южным плантаторам и их единомышленникам в северном лагере. Переизбрание Линкольна обозначало продолжение и обострение борьбы с Югом, победа его соперника Мак Келлана — компромисс и фактическую капитуляцию Севера. Хотя рассказ был напечатан уже после победы Линкольна (в декабрьской книге ведущего литературного журнала «Атлантик Мэнсли» за 1863 год), он выполнил свою роль боевого политического выступления против внешнего и внутреннего врага. Рассказ получил сразу громадную популярность и разошелся в стотысячных тиражах. До сих пор «Человек без родины», наряду с некоторыми стихотворениями Уитмена, речами Линкольна и анонимными песнями северных армий, остается самым примечательным литературным памятником гражданской войны в США.

Как явствует из рассказа, его прямая тема — патриотизм, любовь к родине.

Борьба Севера с плантаторским Югом завершила в США прогрессивную задачу образования буржуазного национального государства, начатую осуществлением еще в XVII веке войной за независимость от английского владычества. Выдающееся историческое значение и революционный характер обеих этих войн — известны.

«В американском народе есть революционная традиция, — писал Ленин в «Письме к американским рабочим», — которую восприняли лучшие представители американского пролетариата, неоднократно выражавшие свое полное сочувствие нам, большевикам. Эта традиция — война за освобождение против англичан в XVIII веке, затем гражданская война в XIX веке»<sup>1</sup>.

Маркс писал в предисловии к первому изданию «Капитала»:

«Подобно тому как американская война XVIII столетия за независимость прозвучала набатным колоколом для европейской буржуазии, так по отношению к рабочему классу Европы ту же роль сыграла американская гражданская война XIX столетия»<sup>2</sup>.

Хотя война Севера и Юга не была войной с угнетателями-чужеземцами, она имела грандиозные национальные задачи. Прежде всего, решался вопрос о самом ха-

рактере американской нации, о ее экономическом и социальном существе. «...будет ли девственная почва необозримых пространств предоставлена труду переселенца или опозорена поступью надсмотрщика над рабами»<sup>3</sup>, так формулировал стоявшую проблему Маркс в адресе Генерального совета I Интернационала президенту Линкольну. С момента возникновения мятежа, военно-политический разгром южных сепаратистов стал насущной задачей социального и национального самоохранения страны.

Вопрос о чужеземном вмешательстве также не был лишен актуальности. Южане пользовались тайной и явной поддержкой некоторых европейских правительств. Север с полным основанием рассматривал южан как государственных изменников, мятежников против законного правительства и ожидал поддержки своих действий со стороны правительства других стран. Однако английское правительство признало за Югом права воюющей стороны и объявило о нейтралитете — ситуация, живо напоминающая нам события наших дней в тем большей мере, что «нейтралитет» британского правительства выражался преимущественно в поставках оружия южанам и провокационном поведении по отношению к Северу.

Таким образом, американский народ, патриоты свободных штатов, имели достаточно поводов для горячей заботы о своей родине.

Подъем патриотизма в народных массах на Севере в критические моменты гражданской войны можно сравнить с высоким патриотическим подъемом эпохи борьбы против английского гнета в XVIII веке или эпохи борьбы французских революционеров XVIII века с объединенными силами европейской реакции. В ответ на патриотический призыв президента Линкольна волонтеры северной армии сложили известную песню:

«Мы выступаем, отец Абрам, триста тысяч бойцов;

Из Новой Англии, от Миссисипи спешим мы на твой зов;

Бросаем плуги и молоты, оставляем жен и детей...»

Гейл достаточно понимал исторические задачи Севера, чтобы в своем рассказе поставить в один ряд изменников и предателей родины эпохи войны США за независимость — Арнольда, Эйрона Барра и других, — и мятежных генералов Брэгга, Борегара, Маури, Татнолла, изменивших присяге и приняв-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения. Изд. 3-е. Т. XXIII, стр. 184.

<sup>2</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. XVII, стр. 7.

<sup>3</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. XIII, ч. 1, стр. 21.

ших командование южными армиями. В той же мере, в какой Север представлял в гражданской войне революционную традицию американского народа, заложенную патриотами XVIII века, Юг представлял традицию экономической и политической реакции, разбоя и измены, которую следовало бить всеми возможными способами. Для нас намеки, рассыпанные в «Человеке без родины», имеют главным образом исторический интерес. Для современников же они имели острейший, злободневнейший интерес и выдающееся политическое значение.

Как было сказано, Гейл направлял удар и против внутреннего врага. В северном лагере было немало всякого рода вредителей, платных и добровольных агентов Юга. В 1863 году, когда был написан рассказ, победа Севера еще не обозначилась достаточно ясно. Были военные поражения, бунты в тылу. Правительство Линкольна только со скрипом шло на революционное ведение войны и mindalничало с врагами, окопавшимися в его собственном лагере.

Опасную деятельность против правительства Линкольна развили так называемые «мирные демократы», получившие известность под именем «медноголовых». Они требовали прекращения «братоубийственной» войны, ратовали за компромисс с Югом и развивали бесстыдную демагогию, спекулируя на тяготах, которые война накладывала на широкие массы. Второй стороной деятельности этой агентуры Юга была лицемерная защита конституционных свобод, сопровождавшаяся клеветническими обвинениями правительства Линкольна в деспотизме. Лидер «медноголовых», член Конгресса от Огайо, Валландигэм, специализировался на личных выпадах против президента Линкольна, которого, если можно было в чем упрекать, то лишь в чрезмерной мягкости к лазутчикам и адвокатам Юга. Валландигэм издевательски называл Линкольна «Абраамом Первым», «королем Линкольном» и обвинял его в цезаризме и измене конституции.

И эта ситуация выглядит очень современно. В Испании наших дней предатели испанского народа, окопавшиеся в тылу на территории республиканцев, тоже требуют «мира» и «компромисса» и каждое революционное мероприятие республиканского правительства встречают воплями о «деспотии» и т. п.

Весной 1863 года против Валландигэма были приняты, наконец, меры. Дело Валландигэма вызвало много шума. Под его непосредственным впечатлением Гейл написал свой рассказ.

Сюжет «Человека без родины» лишен, конечно, исторической достоверности, хотя остроумная композиция рассказа и искусное использование исторических и квази-исторических имен, фактов и документов заставили многих читателей-современников поверить в реальность гейловского персонажа. Гейл даже выступал в печати с разъяснениями по этому поводу, отвечая на письма читателей.

Однако самая мысль о необычном притворе суда, определившем в рассказе странную судьбу Филиппа Нолана, могла, как нам кажется, зародиться у писателя под впечатлением дела Валландигэма, также завершившегося не вполне обычно.

В апреле 1863 года генерал Бэрнсайд, представлявший военные власти в штате Огайо, издал приказ, в котором заявил, что не допустит выражений сочувствия врагу и будет рассматривать подобные выступления, как измену. В мае Валландигэм, после очередной демагогической речи, был арестован, предан суду и приговорен к тюремному заключению на весь период войны.

Президент Линкольн, узнав о произошедшем, изменил своей властью приговор суда, как будто смягчив его, но на самом деле придав ему большую остроту и агитационное значение. Он распорядился выслать Валландигэма к южанам. Его приказ генералу Бэрнсайду гласил:

«Сэр: Президент предлагает вам отправить без промедления Клиmenta L. Валландигэма под надежной охраной в штаб генерала Розенкранса, который переправит его в расположение неприятеля; в случае возвращения Валландигэма на нашу территорию, его належит арестовать и подвергнуть тюремному заключению на срок, обусловленный в приговоре».

Этот приказ очень напоминает соответствующие приказы в «Человеке без родины».

Эдвард Гейл (1822—1909) принадлежал к известной американской семье Гейлов. Его дед, Натан Гейл, был повешен англичанами в годы войны за независимость. Э. Гейл сейчас основательно забыт, но его рассказ о «Человеке без родины» вошел в американскую литературу и сохранил мировую известность и до настоящего времени.

Для нас, которых сейчас, более чем когда-либо, волнуют вопросы советского патриотизма и защиты нашей социалистической родины, произведение, выразившее патриотические чувства буржуазной демократии в её революционный период, имеет неоспоримый исторический и литературный интерес.